

ХЛЕБОРОБ ИЗ ГОРЬКОЙ БАЛКИ

Главы из очерка

БУДТО ВЫЙДЯ из окопов,
ИЗ БЛИНДАЖЕЙ...

Зато следующий — 1963-й — не обошелся без суховея. Озимые жили почвенной влагой, что накопилась с осени, с зимы.

Май, а все не было дождя, чтобы промочил землю до пшеничного корня.

Засинеет на западе — откуда только и ждать грозы. Притихнет степь. Не выходя из кабины, молча окинет далекую хмару тракторист, — и снова за руль, за рычаги.

Что-то забелело, надвигается низом. Гоня перед собой дорожную пыль, рванет ветер, залопочет, зашумит листвою, пригнет пшеницу и погонит зеленые валы с поля на поле.

Не дошла в Горькую балку гроза, отшумела ветром.

В полдень пыльным волчком завертится перегретый воздух, начнет хватать соломинки и сухие листья, швырять вверх.

Пробежал вихорек и затих, из сил выбился. А то из маленького, что соломинки подбрасывал над собой, такой черный столб вскинется — вершиной упрется в небо. За полкилометра шум и гуденье.

И чего больше всего опасались Чухно и Гнездилов, опасались трактористы, — повернул-таки ветер, задул с востока, с Закаспия. Поиняло небо. Повисла над степью «помо-га» — пыльная пелена.

Под недобрый гуд иссушающего ветра колосилась и цвела пшеница. Но выстояла, дала зерно. Не сама по себе выстояла — сколько соленого пота ушло у трактористов, кто измерит? Да и где та мера? Крепко вошла, как глубинный корень в слежалый пласт, несте-ровская наука. Сколько лет здесь ходил Павел Иванович! Поздравствуется с трактористом, а там, гляди, подскажет что, а то посоветуется: тракторист и плугом эту землю пласт за пластом отваливал, и разборанивал ее железными зубьями, и тяжелыми катками крошил ссохшиеся комья, и навозную прель запахивал, — и знал ту землю лучше, чем свое подворье. «Солонцы», — кивнет тракторист. «Солонцы», — глянув на показанное, тем же словом отзовется агроном. И оба думают об одном: в сухолетье сгорит здесь на потрескавшихся избелинах пшеничный стебель, не жди проку и от кукурузы, от подсолнуха. По мартовской утренней стыни, законченной грязи подойдет к агроному тракторист, негромко поздравствуется, а там скажет: «В обид, а то трохи раньше пидсохне, не буде мазать борона». И качнув согласно головой, ответит агроном: «Пускайте тоди бороны — закрывайте влагу на пашне». Оба они — единомышленники на

степной земле.

Нет Павла Ивановича — есть другие агрономы: Гнездилов, Козлов, председатель Чухно. И все они в одну душу с теми, кто на тракторе, на сеялке, на комбайне, все они — единомышленники. Им надо в любой год взять с этой земли хлеб. «А як же, — услышишь от Чухно, — на то мы хлиборобы».

Отгрузили почти полтора ста тысяч центнеров зерна на Аполлонский элеватор. Его башни словно выше приподнялись над степью. Устояв перед суховеем, безостая дала более чем по двадцать одному центнеру с гектара. По старой мере — более чем по сто двадцать шесть пудов. Меньше, правда, чем прошлым летом, но Чухно они дороже: отвоены от суховея. Председатель и во сне помнит эти цифры. А думки вперед, все вперед забегают. И снова заботы, снова тревоги — нет им конца.

Как не будешь сердцем болеть о дожде, когда за весну, за лето ни одного. Земля на себя непохожа. Раньше срока осыпают сохлый лист лесные полосы. Без обычного стрекота сорвется сорока. Глаза бы ни на что не смотрели.

Сентябрь не привел ни гроз, ни обложных тягучих дождей. Лишь нехотя, с ленцой громыхнет за косогорищем, чуть притуманится и — опять ясень, чистое небо. Услышишь от тракториста с дальнего поля: «Росу бросыв, а дощу нема».

Погода, климат — не союзники. Надеят-ся лишь на себя.

И громыхают дизельные тракторы, гудом гудит Горькая балка. Тяжело клубится бурая пыль, припадает на сохлые борозды.

Будто выйдя из окопов, из блиндажей, запыленные до самых белков глаз, измазанные машинным маслом, цепко ухватились за руль трактористы, всматриваются перед собой как сквозь смотровую щель.

Озимые кустились нехотя, через силу. Суходолы, вершины полей выглядели лысо. На ином поле — ни единого всхода. Присыпанные сухотиной, нетронуты лежали семена. А поверху, вскипев враз, вертлявые вихри гоняли пыльные столбы пополам с соломой, полевым мусором. Насупив брови, молча глядел Чухно: недобрая примета.

Декабрь не принес снегу. Темнели поля. Среди зимы разбушевалась не белая метель, а черная пыльная буря. День помрачнел — в домах зажгли электричество.

Припомнив, качает седой головой Иван Павлович Гнездилов: «Перед тем колхоз отметил мое шестидесятилетие, а проснулся — на дворе стихия».

Лишь февраль скупой присыпал поля снежной крупкой, схожей с гранулированным суперфосфатом, подбавил снежку, дал печатные пороши. Не только заячьи петли, но и тонкий узор жавороночьих лапок виден.

Снегу бы полежать, с ним спокойней. Но пригрело, забираясь все круче, солнце. Зачернели проселки. Зачернела зябь. Проглянули проталины на озимях.

Закурилась, отходя от зимней стыни, земля, дымится белой испариной.

Не стерпел Чухно, не усидел в кабинете — покатил на поля. Летят талые ошметья из-под резиновых колес. Парует степь.

И опять сыпанула снежная крупа, подскакивая на крышах, на тротуарах, мелкой дробью стуча в оконные стекла, прибеливая зябь и проталины. Не раз еще порошило. А в канун женского праздника 8 Марта свирепый циклон, метнувшись через всю страну от самого Карского моря, принес страшный мороз. Не стало слышно вороньего карка. К скотным дворам, к фермам сбились пичуги, беспамятно лезут под копыта.

Хорошо ненадолго завернули сюда безжалостные карские холода. Через два дня куда его лютая сила делась? Только жестче, неподатливей теперь снег. Опять по полям, по проселкам кочуют рассыпные стаи шебетунов-жаворонков. Того жди — взовьются в поднебесье.

Март — месяц удвоенного светового дня. Строгим, неподкупным ревизором пройдет по полям.

— Оживают, — из всех новостей — самую большую принес бригадир Иван Федорович Клешня. Он успел скинуть с себя черный, с густым воротником бараний полушубок. Поверх заветного кителя защитного окраса с медными пуговицами, с подшитым белым подворотничком, на бригадире кожанка. Черные брюки со вздутыми галифе суживаются к

коленкам и заправлены в узкие голенища сапог. Но с головы не сходит шапка, из-под нее проглядывает зачес еще черного чуба.

Во всей невысокой фигуре бригадира, в манере держаться, в том, как чуток схиlena шапка, — дает о себе, знать военная косточка, армейская ухватка. Другие, кому сейчас за пятьдесят, также были на фронте, отслужили свое, а вот не сохранилась у них солдатская выправка. У бригадира же осталась навсегда. Кадровый служака, сержант по званию, он — один из тех младших командиров, на ком держится подразделение.

— Оживают, верно слово говорю, — торопится поделиться Клешня и, наклоняясь до треска в коленях, всей своей ладной фигурой показывает, как он разглядел оживающую озимь.

— Узел кущения не задет, не вымерз, — досказывает бригадир, — поэтому и растет. Не всюду, верно, а по низине, по балочке. Тут же затишно, мороз не так сильно остудил. Листья отмерли, зато новый, живой проклевывается, лезет наружу.

— То-то не всюду, — отозвались голоса. Один из компании покачал головой, другие понимающе переглянулись. — То-то и оно.

Те же разговоры в кабинете у Чухно. Главный агроном привез не один монолит — квадрат земли с корневищами озимой пшеницы и ячменя, провел их отращивание. «Ну, то?» — не сдержался председатель, торопит с ответом. И будто не слыша, помалкивает

Иван Павлович, перебирает квитки на столе, зачем-то полезет в левый боковой карман пиджака, в правый, хлопнет ладонями по брючным карманам, растерянно глянет на стол, опять начнет перебирать квитки.

Видит все это Чухно и, морщась как от зубной нетерпимой хвори, скажет: «Чего шукаешь? Очки? Боны на тоби, Иван Павлович, на лоби». И отвернется, опустит отяжелевшую голову.

Более восьми тысяч гектаров озимых. Не оградила их снеговая простынь от вымерзания — ячмень весь погиб, досталось и безостой.

Что ни делали — и пускали бороны, и подсевали яровку на исплешенных полях, и высыпали из самолетов подкормку, — не сумели, как хотелось, выправить пшеницу перед тем, как змеегорынычем налетел суховея, опалил землю смрадным дыханием.

На круг смогли взять по 8,6 центнера озимой пшеницы с гектара в тот трудный недородный год. Это поболее полета пудов.

Глубокой зарубкой, шрамом остался он — 1964-й — в памяти Чухно.

МУЖИЧЬЯ ПОХВАЛА

Смешно считать, что тебе все известно, что от тебя ничто не скрыто.

Пришлось мне побывать в совхозе за Ма-нычем. Разводили на краю пустыни тонкорунных овец, и звался совхоз овцеводческим племенным. Но ехали мы мимо редкостойной

пшеницы, сохлой кукурузы, хотя лето только начиналось. Пастбища выглядели унылыми с сизо-пепельными клочками полынка, истолченными, как ступками, овечьими копытцами.

Директор не вызывал к себе особого интереса. Уже в годах, лицом схожий с любым чабаном, — в мелкой сетке морщин и глубокой складкой у губ, продубленном ветрами и загорелом до темной меди, с притаенным, каким-то ускользящим взглядом из-под смеженных век. Торчащие брови, как и щетинки век, выглядели белесо-рыжими, похожими на иссохшие, паленые пустынные травы.

Судя по линялому пиджаку защитного цвета со стоячим воротником и военного покроя фуражке с окантовкой, — директор был из запасников.

Беседовали мы мало, да и вышло так — говорил больше я. Не покидала настороженность от ощущения чужого взгляда, но все мои попытки встретиться глаз в глаз — ни к чему не приводили: директор выглядел насупленным.

И вдруг он, на что-то решившись, предложил мне проехать с ним.

Снова по бокам нашего газика поплыли дышащие жаром поля редкостойной пшеницы и сохлой кукурузы, сизо-пепельные пастбища. Близко от проселка, с черногорелого палища с остатками лежалой соломы, прошитой лебедой и кожушкой, — сорвался стрепет. Косо забирая вверх, трепеща маховыми перьями, понесся вдаль.

Ничем не обозначенный сворот влево, резкие толчки от ухабистой, в ямах земли — и газик выскочил на приземистый косогор.

То, что открылось в этот миг, ошеломило меня так, что я верил не верил и не мог даже издать восклицания. Всего меня захлестнула и заполнила горячая волна радости.

В нескольких шагах от газика и насколько глаз хватал до второго косогора и обрезанного им неба густела не тронутая жарой пышная зелень. Резко огранив себя от остального, ни с чем не схожая, сплошным зеленым разливом стояла люцерна. Глаз отдыхал, упивался ее жизнерадостным цветом.

Невозможно было оставаться безучастным, нельзя было усидеть в машине — нас выхватило и повлекло к себе это радостное зеленое буйство. Мы среди цветущей люцерны, она касается наших ног, колен, мы наклоняемся к ней, вбираем ее зелень глазами, вдыхаем всей грудью освежающие испарения, точимый неслышно аромат.

Гонимая, безжалостно распахиваемая в те годы люцерна, словно борясь за свое право быть на земле, всеми своими зелеными сочными побегам, каждым живым листком голосовала за себя.

Потрясенный увиденным, я ухватил крепко-накрепко шершавую руку директора совхоза и, не помня необузданных в горячке слов, благодарил-благодарил...

Когда рассказал об этом

Чухно, он глянул на Гнездилова, на Бочарникова и Козлова, брови его приподнялись, полнее открывая глаза. Вижу на себе его прямой взгляд.

— То хозяин, — всего-то и сказал Чухно, но столько было в двух словах крепкой мужичьей похвалы, глубокой убежденности, что это значительнее было целой речи.

Разговор стал общим, всем хотелось высказаться.

Чухно молчал, уйдя в свои думы. Но вот он безулыбчиво смотрит на меня, обычно мягкий его голос, еще более смягчаемый украинской речью, становится жестче:

— Шо думаете, цей директор з Маныча один такый?— несогласно, сжав губы, качнул тяжелым подбородком.— Та мы вси так поступаемо. И з мене требуют, и с Ивана Павловича, зо всих, вам кажу: распашы цю люцерну и всэ! Така директива!

Стукнул кулаком по столу.

— А чабаны ти вытягнут мени з машины да так отстегают ярлыгами, всю нидилю буде чухаться.

Приподнял голову с тем самым зачесом, что со времен парубкования держится,— хитро блеснул глазом из-под опущенных век:

— Начальство надо слухаться, на то воно и начальство.

Вроде передохнул.

— По телефону доложи, це ж оперативно: выполнено. Бумажку слидом пошли: подтверждаю — распахано. — Оглядел вправо-влево сидящих, с

кем столько лет вся жизнь связана,— а люцерну сховай от того... начальства. Як тот директор.

Крепясь, рассмеялся последним. Стало шумно.

Я сказал, что узнал из газеты о снятии директора совхоза с работы,— стало пронзительно тихо, лица у всех посуровели. Так бывало на фронте, когда приходила весть о павшем товарище.

— Така наша работа,— по привычке скупно высказался Чухно.

Мне не забыть чухновские слова — «така наша работа». Еще не раз припомнятся. Как припомнится и сказанная прямо похвала: «То — хозяин».

Какое емкое слово, какой обновленный смысл в нем! Безмерное расстояние пролегло между тем, что вкладывалось в стародавнем селе в это слово и что вложил в него Чухно, вкладывают наши хлеборобы. Не бедное, ограниченное хлопотами по собственному подворью, хлопотами на своем земельном наделе — крохе, обильно политой соленым потом мужика и коняги. Большое содержание, огромный смысл в это слово внесла жизнь с колхозами, с совхозами, с новыми устоями на селе.

Директор с Маныча сознательно пошел на сохранение люцерны в хозяйстве, имел мужество пойти на риск, на личные невзгоды, но дать белковый корм овцам в полупустыне. Совхоз ничем не мог заменить поспешную перепашку опальной травы, а директор видел ущерб —

наглядный, зримый, вещественный —от слепого, бездумного выполнения приказа своего управления: худых, впалобоких ягнят и их матерей, понуро бредущих по выбитым, бескормным пастбищам; неизбежность принудительной прирезки обреченных животных; десятки и сотни отстуканных на машинке актов о павших от авитоминоза ягнят и овец. Что пережил директор? Но в нем осилил, взял верх хозяин-радетель и ответчик за государственное народное добро.

«ХТО БУДЭ ХЛИБ ДАВАТЬ?..»

Вскочить со сна пораньше, продрать глаза и приняться за работу — стародавняя крестьянская привычка, признак хорошего хозяина. «Кто рано встает, тому бог дает»,— говорили в старину, не забывают и сейчас. «Кто с зарей на ток — будет толк», «коса не тянет за волоса, а спать не дает», «вскочи с петухами — будешь с пирогами».

Чухно едва ли припомнит, когда последний раз брал косу в руки, а все равно выходит из дому потемну. И председатель, и оба заместителя, и главные специалисты, и бригадиры, кто живет поближе, все в одно время сходятся на наряд. В новом двухэтажном здании правления колхоза внизу имеется комната с табличкой: «Нарядная». Речей здесь не разводят. Еще помалкивает радио, не сообщает московский диктор утренних последних известий, а все

закончено: распоряжения сделаны, сила и техника расставлены, все утрясено. Угомонился телефон. Люди расходятся.

—Андрей Васылович!— обратится кто-либо из колхозников, поторопившихся захватить председателя до завтрака.— Мини зараз треба кырпыча та черепка на хату.

—Мий чоловик не дае життя, б'ється як скаженый,— запричитает женщина.— Залье очи...

Припоминается и такое.

—Теперь, Иван Павлович, балакай,— обратясь к главному агроному, вернувшемуся из района, сказал Чухно.— Шо каже начальство? Яки привиз директивы? Есть яка команда?

—Есть.

Чухно качнул головой — ну как, мол, им не быть.

— Есть, Андрей Васильевич: с первого сентября сеять пшеницу.

Чухно, Бочарников, Козлов, секретарь парткома Твердохлебов обменялись короткими взглядами. У Козлова блеснули глаза, а может, стекла очков. Смуглолицый Твердохлебов, самый молодой из сидящих, смотрит то на Чухно, то на Гнездилова, но ничем не выдает себя,— ни один мускул не дрогнул, не изменил спокойно-внимательного лица. Лишь в глубине глаз скользнула светлинка.

— Так... так,— тем же тоном, не повышая, не понижая, заговорил Чухно. Глянул на Гнездилова.— Як же ты, Иван Павлович, по-слухав та и всэ?

Можэ, агрономия согласна? Гнездилов досадливо махнул рукой, и так красноречив был жест, что все разом рассмеялись.

—Меня, старого черта, словно кто дернул за язык, вот я и скажи — нельзя сеять озимые с первого сентября. Где этот срок, может, и подходит, а для нас нет.— Гнездилов насупился, весь как-то сердито нахохлился, напоминая встревоженную квочку.— Только брякнул, да тут же пожалел. Распек меня начальник: я, говорит, из-за вас не хочу схватить выговор, есть команда — выполняй! Проверю.

—Так, так,— качнул головой Чухно и сам не стерпел, не стерпели остальные — рассмеялись в одну душу.— А ты шо, Иван Павлович, з луны упав? Не знаешь начальство? Воно не любе возражений, а ты забув, став поперек. Ты же исполнитель: кажут — сий, ты — сий, кажут — косы, ты — косы.

Я знал характер Чухно, его мужицко-кре-стьянскую суть, поэтому от меня не укрылась злая ирония, острое жало критики под смиренно-горьким тоном речи. Да и сам Чухно не счел больше нужным прикрываться и помужички хитрить, он заговорил напрямую:

— Кто будэ хлиб давать, Иван Павлович, га? Та директива? Чи той начальник?— помолчал самую малость,— очень уж рвалось наружу давно накипевшее.— А може, мы, колхозники?— вновь пауза, еще короче.— Тодисий озиму пшеницю так, шоб був урожай,

шоб був у народа хлиб!

Поднялся во весь богатырский рост, всей фигурой похожий на былинного Илью Муромца, уперся ручищами в крышку стола.

— Будто мы — диты, чи — дурни, — подбородок дрогнул, задрожали губы, все лицо, — от обиды, от внутренней боли, но Чухно совладел с собой, огромным усилием воли заставил себя сесть. Лишь большие расплющенные руки не находили себе места, мелко и часто дрожали пальцы.

— Сиять озиму пшеницю первого сентября, — качнул головой вправо-влево. — Почулы б цэ наши батькы, шоб воны сказали на тэ, шоб казалы трактористы! — сокрушенно покачал головой, и так это выглядело понятно, что не нуждалось в пояснении, в дополнительных словах.

Тут же сообща перебрали сроки сева за многие-многие годы колхозного труда в Горькой балке, припомнили и то, когда сеяли отцы и деды, и пришли к твердому мнению: сеять озимые с середины месяца, а с первого сентября приступить к севу тех же озимых на зеленый корм.

— Цэ можно, — согласился Чухно, — а назерно — ни. А в сводке кажы, шо сием, — обратясь к Гнездилову, закончил председатель. — Не забудь, Иван Павлович: первого сентября в кинци дня передай сводку в район.

Председатель знал неизбежность и необходимость отчетности: без чего нельзя — то нельзя. Он помнит, как отчитывался перед райзо,

отчитывался перед политотделами — отсюда не только наведывались в колхоз, проскакивали из бригады в бригаду, а дневали и ночевали в бригадах, на полевых токах политотдельские работники, сами брались за вилы, за лопаты, грузили зерном кузова бестарок и машин. Хлебали из чашек то, что хлебали сами колхозники. Слышали такое, что можно услышать только здесь за общим столом, что можно услышать только в поле от пропахшего соляркой тракториста в час заправки трактора.

Не запомнюешь и того, как переиначивались органы управления сельским хозяйством, как суматошились те, кому приходилось тут работать. Только вот отчетность от переиначки, несмотря на обещания, не упрощалась и не уменьшалась, а даже наоборот. Но, как сделал для себя вывод Чухно, из всех видов отчетности — пахали ли, сеяли, убирали урожай в Горькой балке, — на первое место вышла та самая сводка. По тому, что вписывалось в нее, судили о хозяйстве, определяли его порядковое место в районной таблице, кого возносили, а кого поносили.

— Не забудь, Иван Павлович, — еще напомнил Чухно.

МНОГОТРУДНЫЙ поиск
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Предостаточно за свои председательские годы перевидел постановлений Чухно, перечитал и переслушал речей и докладов. И

выработалось у него отношение к ним, выраженное в словах: «Дило покаже». Это не был крестьянский скепсис к тому, что могло нарушить устоявшееся, привычное, нанести тем более ущерб. Больше всего в том было желанием умудренного жизнью человека приглядеться к действию постановления, испробовать его своего рода на ощупь, обратить на пользу.

Польза — вот мера оценки, выгода хозяйству, а значит, и людям.

Ведь было и так, что на суходоле выращивали — что бы вы думали? — хлопок. Колхозники вместе с председателем не могли поначалу это взять всерьез, смеялись как забавной шутке. А пришлось засеять хлопком семьсот гектаров. На сбор созревших коробочек выходить всем, кто только мог пользоваться ногами и руками. Сгибаться чуть ли не до земли, чтобы сорвать белый комочек ваты. Горше всех досталось Чухно и таким же, как он, высокорослым дядькам. Хоть становись на колени и рви треклятую вату. Подбирали и в осеннюю мокреть, и в приморозок пополам с ледком, со снежной крупкой. Тащили в хаты, сушили на полу, сушили в печках и на печках.

Изболелись, испростудились селяне. Брали же с гектара меньше центнера сырца. Где же тут прибыток колхозу!

Неладное вышло с кукурузой. Начали теснить пшеницу. Только в «Коммунистическом маяке» под кукурузу заняли три тысячи двести

гектаров. Не хватало ни людских, ни машинных сил для ухода за эдакой машиной. Обламывали початки по снегу. Когда же бухгалтерия подбила итог, с каждого гектара кукурузы на зерно вышел убыток в четырнадцать рублей с полтинником. Пшеница с такого же гектара дала 82 рубля с полтинником прибыли.

Припомнит Чухно, сдвинет память — и не рад: бередают, как старые раны. Но забыть нельзя. Память, как хорошая книга — учитель человека.

Приехал я во второй половине июля, сразу же хотелось побывать в поле. Чухно не разделял моего желания и тем же шаркающим шагом, не задевая, однако, кочковатой земли, повел к неотделанному еще высокому зданию Дома культуры.

— А шо в поли?— переспросил Чухно, пожимая плечами.— Пшеницю, ячмень, овес обмолотили.— Широко, всем лицом улыбнулся.— Техника! Нищо не устоит перед техникой, ни! Механизаторам тильки дай то поле, та побильше. Це ж пшениця! Двадцать две тысячи центнеров отвезлы на элеватор. Малу вато.

Помолчал, что-то, видать, прикидывая.

— Ше отвеземо. Косым просо, та цэ недовго: машины зараз змахнуть.

С особым удовольствием слушаю мягкую, округлую речь.

Пока осматривали Дом культуры, узнал — в разгаре страды Бочарникову предоставили отпуск и заместитель председателя с женой-учительницей отдыхали

на Черноморском побережье. Не скрою — это удивило и обрадовало меня: ведь раньше об отпуске в летнюю пору нечего было и думать.

—Нема бильше уполномоченных, аж нияк не вирыться: убывраемо хлиб, здаем на той, на элеватор, а уполномоченных нема!— оживляется Чухно, глядит на меня вполоборота, замедляет шаг, поднимает кверху правую руку с торчащим указательным пальцем.

—Нема!

Припомнил одного из десятков уполномоченных, майора в отставке. Поездил он два денька с председателем по токам и бригадным станам, заскучал что-то, молчит, а потом; вдруг прорвало: «Что я буду тебя дублировать, Андрей Васильевич! Отвези меня на большой ток, где колхозницы очищают зерно перед отгрузкой на элеватор. Лучше я помогу им, а будет время — проведу беседы».

— Изо всих уполномоченных одын найшовся!— удивляется Чухно.— Як бувае.

Не тревожат председателя и телефонные звонки.

— Шо-то мовчати,— не совсем веря, с опаской говорит Чухно. — Боюсь, не выдержуть.

Сколько времени директивы и разносы по проводам были так обычны, без них не обходилась ни одна уборка урожая и хлебозаготовки, ни осенний, ни весенний сев, ни остальные колхозные работы,— эти телефонные: команды являлись неизбежным

порождением: волевого руководства. Звонки требовали к: проводу не только в кабинете, они будто тяжким обухом били по спящей голове, поднимали председателя с ночной постели, они настигали его в бригадах, скакали в виде конного-нарочного по бездорожью, настигали повсюду. «Треба председателя!»

И Чухно никак не может привыкнуть к молчащему телефону. «Може зломався, чи обрыв якийсь на линии, а?»

Вовсе растрогался председатель, разволновался до затаенных глубин, когда начали сами разрабатывать колхозную пятилетку. Все сдвинулось, открылось себе и другим, как сдвигается, ломая панцирный лед, река по весне, и подледные сумеречные воды пронизываются светом, несут на себе солнечные блики и небесную синеву, праздничное ликование.

Не надо было глядеть на чужие, не трогающие ни одной живой струнки, холодные цифры. Чья-то равнодушная рука внесла их на бумагу, расставила по таблицам и колонкам, запаковала в плотный пакет, припечатала сургучом.

Ничего этого не было — ни пакета, ни казенно разграфленных таблиц, ни мертво глядящих цифр.

Цифры, что назывались каждым из сидящих за рабочим столом — Чухно ли, Гнездиловым, Бочарниковым, Козловым, Твердохле-бовым, Клешней, бухгалтером, экономистом и другими,— жили, спорили и боролись между собой. За любой

из них стоял заинтересованный человек, знающий полный смысл цифры, то, что стояло за нею. А за цифрой стояло сложное большое хозяйство и коллектив тружеников, любящий свое дело в суховеинной степи. Для них цифры — работа, заработок, благополучие личное и семьи, артельный достаток, все то, что объемлет жизнь.

Надо не ждать, когда сверху из района укажут, а самим определить урожайность озимой пшеницы на пятилетнюю грядку времени. Тут не влепишь в графу налетную цифру, что первой пришла в голову, что выглядит парадно. О, нет! Нельзя покривить душой, угодить кому-то. За той строгой цифрой, что по праву должна занять свое место в пятилетке, вся недавняя и давняя жизнь «Коммунистического маяка» — от насильно отобранной усадьбы у Карпушина до этого заседания правления колхоза. В чередe долгих лет вздымались пыльные суховеи и изливались громовые ливни, на смену коням и волам-много-терпцам явились многосильные тракторы. В этой чередe лет отшагал по степной земле, ис-хлыстанной ветрами, первый агроном коммуны Павел Иванович Нестеров. Не хватило его жизни в трудном поиске богатырской сухо-стойкой пшеницы, пришлось отдать еще десяток лет из своего человеческого запаса агроному Ивану Павловичу Гнездилову,— да и у того избелился насквозь волос, неприметно отошла сила. Третьим по-солдатски в затылок стал молодой агроном Валерий

Гаврилович Козлов. Продолжается многотрудный поиск. Так велит жизнь.

Вот и прикидывают, со всех сторон рассматривают и вникают в цифры люди из колхозного правления.

ВСЕГДА, КАК В БОЮ

—Брали побольше двадцати шести центнеров на круг,— сдержанно напомнил Козлов.

—Брали, — качнул головой Чухно.— Було цэ. Новенька дала.

—Так то за сколько лет один раз! — взъерошился Гнездилов, белый ежик волос словно приподнялся.

—Верно, Иван Павлович: один раз в тим тысячу девятьсот шистьдесят втором,— вновь качнул головой председатель, прикрыл глаза веками на секунду, но и этого времени ему хватило, чтобы все припомнить, представить, как на яву.— Було цэ. Тоди и дощу багато було, як по заказу. Помнышь?

Поднял голову, глянул на Козлова, подождал его ответа, оглядел поочередно всех. Пожалковал, что год с годом не сходится.

— Оце скилько живу, и вси годы разни. Чого у нас бильше — то суховея,— сморщил лицо, резче выступили зарубки на лбу. Не весело пошутковал:— С кым бы поминяться суховеем на дощ — мира на миру, а то дви, тры, хоть пьять мир того суховея на миру дощу? Нема дурнив.

Шутка шуткой, а дело делом. Даже у злыдня-суховея короткие руки до пшеницы, если

она упала зерном на паровое поле, да приходилось чистые пары утаивать, как люцерну. Почти выпала из обихода луцевка стерни, а сколько попусту выветривается из-за того почвенной влаги! Дубенеет земля, истоптывается овечьими и коровьими копытами. До предзимья запаздывает свозка кукурузы с поля, а по ней сеется озимая пшеница — вот и не хватает времени на проклев зерна, не то что на закалку всходов. Химические удобрения бросаются посуху — почти без проку. Да и мало их.

Сурово, по-хозяйски глянули и оценили себя, ни в чем не дали и малой потачки. Да и кого обманывать — себя! Вот она средняя урожайность озимой пшеницы за последнее десятилетие — пятнадцать центнеров с гектара.

Пятнадцать!

Тут и поболее двадцати шести, что взяли в 1962-м, тут и меньше девяти, что собрали, да как — с боем! — в 1964-м. А средняя за десятилетие — пятнадцать центнеров. Никуда от нее не уйти, не забыть, не перечеркнуть.

Трудно дается прибавка любого килограмма пшеницы в Горькой балке. Примолкли все. Каждый думает об одном в эту минуту. Старый председатель подпер ладонью и подбородок и правую щеку, да так и замер, даже глаз не отводит от одной точки — всматривается, всматривается.

Тишина, будто никого нет в кабинете.

— Так шо запышємо?

Теперь все глянули на

Чухно. Глянули и опять, кто перед собой на стол вглядывается, кто — на панельную обводку, а кто — не понять куда, скорей всего в себя всматривается.

— Шо мы зибрали цей год, Иван Павлович?

Знает, хорошо знает Чухно — собрали в 1965-м по одиннадцать центнеров шестьдесят килограммов пшеницы с гектара. Знают остальные. Но все повернули головы на Гнездилова, словно хотят услышать впервые.

Передвинул одну, другую бумажку Иван Павлович — слышно, как прошелестела каждая. Поправил коротким движением руки очки на переносице:

— Что ж говорить — от этого не прибавится.

— Не прибаве, вирно, а ты кажы, Иван Павлович, а мы вси послухаем, — тем же ровным голосом, без досады или еще чего-то повторил Чухно.

— Одиннадцать целых и шесть десятых центнера, Андрей Васильевич!

— Не мени одному цэ треба, Иван Павлович, а всим. И тоби.

Глянул на Гнездилова, оглядывает каждого, пока еще не высказывает своего мнения об урожайности озимой пшеницы в пятилетке, но все знают — у председателя все продумано, все взвешено, что скажет он не случайные слова. А молчит — ждет их мнения, что они предложат, что скажут. Урожайность — не узко личное дело, касается не одного Чухно.

— Техники у нас богато, — размышляет

вслух председатель, неторопливо произносит, взвешивает слова.— Ще бильше будэ техники — купымо, карбованцив хватэ. Комбинат з Невинки подкыне химию, ти гарни били суперфосфаты. Сиять будемо безостую в таки срокы, як мы хочымо. Так шо запышемо,га?

Ни одна душа не покривила, не последовала правилу — кто в борозде, а кто в стороне,— все прикидывали и так и эдак, одну цифру опровергали или брали под сомнение, за другую спорили до упарки. Пока не сошлись на девятнадцати центнерах пшеницы с гектара. И все были довольны, каждый считал, что именно он назвал эту цифру и убедил в своей правоте остальных. И думая так, улыбался в открытую, на виду у всех, потому что не улыбаться не мог, так как был по-особому счастлив и горд.

— На четыре центнера бильше даемо,— потирая руки до хруста, приговаривал Чухно.— Це ж двадцать четыре пуды с гектара! Ну-ка, Иван Павлович, прыкынь, яка выйде прибавка на хозяйство? Оце добре! Будэ трудно, знаемо, но треба добыться.

Одно тревожило — как отнесутся в районном управлении к колхозной пятилетке, к запланированной урожайности озимой пшеницы в девятнадцать центнеров с гектара? Уж очень редко здесь соглашались с мнением низов, всегда поступали на свой манер. Но не теряли надежды, что нынче случится иначе, поступят справедливо.

А на сердце у Чухно, у всех правленцев было беспокойно. Не зря в народе говорят — сердце вещун.

Как ни были подготовлены к худшему, а то, что пришло из района, ударило по самому больному, оказалось нетерпимым: перечеркнув урожайность озимой пшеницы в девятнадцать центнеров с гектара, вставили цифру в двадцать два.

—Це ж обман... А кого обманываемо? — у председателя перехватило горло, заклокотало. Грузно осев, он пугающе избеливался, хватался ручищами за сиденье, на лбу вздулись темные жгуты, перепахались морщинами.

—Кого обманываемо?..

Никто еще не видел председателя в таком состоянии. Умел он держать себя в руках, не давал себе разойтись, сорваться на всю вселенную. Бывало, уличит кого в бракодельстве, не закричит, не оборвет, а все допытывается — для чего ты это сделал, какая в том выгода? И добивается осознания человеком вредности своего проступка, своей вины. И пользуясь правом, предоставленным ему артелью, ее уставом, обяжет виновника в нанесении ущерба общественному хозяйству переделать работу за его счет. «Краще б ты ци гроши на своих дитей изтратыв»,— скажет с укоризной.

Помнят, хотя тому уже прошло немало лет, как прознав, что продавщица из личной корысти доливала воды в бочку с колхозным вином, заставил открыть деревянную пробку —

чоп и перехилить бочку: разбавленное вино ушло в землю, а виновница оплатила ущерб колхозу. И опять-таки не обзывал продавщицу председатель, голоса не повысил, а дошло об этом и услышали все в Горькой балке. «Не буде другой раз женить це вино», — выразили свое мнение о проступке продавщицы.

Лишь в редких, исключительных случаях передавался иск на виновных в народный суд. Еще с первых лет коммунарской жизни сложились свято оберегаемые обычаи — решать все общим умом и общим сердцем, воспитывать на людях без утайки. Огласка — великий учитель жизни.

Как же быть сейчас, когда несправедливо изменяется одна из коренных цифр в колхозной пятилетке «Коммунистического маяка»? Когда тем самым дает о себе знать осточертевшее пренебрежение к коллективному мнению самих хлеборобов и навязывается им подправленная, с виду лучшая цифра?

— Не будем обманывать государство,— это мнение председателя поддержали все, стало общим.

Давно умчался в район Бочарников с наказом без обиняков, со всей прямоотой высказать честное суждение правления колхоза об исправленной цифре урожайности озимой пшеницы, настоять на той, что выдвинута колхозом,— а люди словно забыли дорогу к дому, к обеденному столу. Кучкуются, дымят и дымят табаком по коридорам, у дверей

при входе со двора и при входе с улицы. Встревоженный гуд слышится отовсюду.

Чухно то поднимется из-за стола, грузно постоит, то рывком выдвинет ящик стола и, ничего не взяв, так же со стуком задвинет. Все валится из рук. И жжет, жжет, не оставляет боль, перемежаемая гневом. Лишь где-то за ними ворохнется слабая надежда — а может, обойдется, может, согласятся с их колхозной цифрой? Все обоснованно, сколько ни проверь.

Нет, не согласились и на сей раз. Настаивают на своей цифре — двадцати двух центнерах пшеницы. Без этого не получается, видите ли, среднерайонная. Вот в чем причина! Что им голодный паек в триста пятьдесят — четыреста миллиметров осадков, отведенный природой Горькой балке на год. Что им среднегодовая урожайность за последнее десятилетие. Что им отсутствие орошения. Главным для них — среднерайонная цифра в плане. Благополучие на бумаге.

Поэтому же отказано колхозу в свертывании свиноводства, хотя оно убыточно. Корма приходится закупать на стороне.

...Закачался Чухно.

— Це не оставемо... Треба стукать выше.

Темная, обожженная солнцем земля. Открытая всем ветрам степь. Чаще «моряна», «астраханец», иссушающий все живое суховей.

Трактористы всегда, как в бою.

«Коммунистический маяк» в 1966-м взял по двенадцати центнеров озимой пшеницы с гектара, по старой мере — по семьдесят два пуда.

И опять в сухополье сеяли озимые. Только холодные декабрьские «мжички», переходящие в неторопкие дожди, смочили семена, прикрытые сухотиной. Где глубже промочила влага, зазеленела пшеница.

И опять, как всегда, неспокоен Чухно, беспокойны хлеборобы Горькой балки. Нелегко ты даешься, крестьянское счастье — простой хлеб.

1965-1967 гг.

